

Марина Могильнер

(Университет Иллинойса, Чикаго)

Русский землевладелец Толстой,

ИЛИ КАК ДУМАТЬ О ПОСЕЛЕНЧЕСКОМ
КОЛОНИАЛИЗМЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Конечно же, существует ирония в том, что автор морализаторского рассказа «Много ли человеку земли нужно» (1886) — Лев Толстой — всего десятилетием ранее стремился преумножить свои земельные владения любыми и, как показывает Эдита Бояновска, далеко не всегда чисто плотными и просто колониальными средствами. Однако это не единственный и, возможно, не самый скандальный случай контраста между толстовскими принципами и практическими поступками. Он и сам осознавал эту проблему, которая служила одним из движущих сил его творчества. Я подхожу к этому сюжету не как литературовед — я совершенно сознательно читаю статью Бояновской как историк. Для меня важнее, что реконструированная ею история опирается на реальные обстоятельства, а конкретная фигура русского дворянина, воспользовавшегося периодом реформ для земельного обогащения, не имеет особого значения. Вообще Толстые — очень распространенная дворянская фамилия, и на месте Льва Николаевича мог быть любой другой представитель его обширного клана или просто однофамилец. Так что я буду называть его Т. — «тот или другой». Мне кажется, проделанная Бояновской исследовательская работа допускает такое прочтение ее статьи через призму проблемы поселенческого колониализма в Российской империи. По крайней мере, к этому располагают антропологические и социологические постколониальные интерпретации и подходы, на которых основывается статья.

Когда я рассказываю студентам о проблеме ориентализма в Российской империи как комплексе экзотизации Другого европейскими интеллектуалами, то наряду с книгой автора этой концепции Эдварда Саида, и текстами историков Анатолия Ремнева, Майкла Ходарковского, Скотта Бейлли и Веры Тольц, мы обязательно читаем «Хаджи-Мурата» Толстого⁷². Стоит ли по итогам прочтения статьи Эдиты Бояновской убрать эту повесть из силлабуса? Конечно, нет, но студентам теперь придется читать антиколониальную повесть Толстого вместе со статьей Бояновской о Толстом — колониальном землевладельце⁷³. С точки зрения профессора истории, это идеальное сочетание, иллюстрирующее концеп-

72 *Remnev A. Sultan Mendali Piraliev: The History of a Hoax // Ab Imperio. 2012. Vol. 13. No. 1. P. 106–117; Khodarkovsky M. The Return of Lieutenant Atarshchikov: Empire and Identity in Asiatic Russia // Ab Imperio. 2009. Vol. 10. No. 1. P. 149–164; Ходарковский М. Горький выбор: Верность и предательство в эпоху российского завоевания Северного Кавказа. М.: Новое литературное обозрение, 2016; Bailey S.C. A Biography in Motion: Chokan Valikhanov and His Travels in Central Eurasia // Ab Imperio. 2009. Vol. 10. No. 1. P. 165–190; Tolz V. Russia's Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods. Oxford: Oxford University Press, 2011.*

73 Речь идет о так называемом upper level seminar, который выбирают студенты-бакалавры, специализирующиеся на истории, как правило на последнем году обучения.

туальный посыл вышперечисленных авторов: Российская имперская ситуация не описывается каким-то одним нарративом и не сводится к единому типу колониализма и империализма⁷⁴. Репертуар «имперского управления» включал в себя разные сценарии имперского господства и методы колонизации⁷⁵. В глазах современников эти разные сценарии и методы не были взаимоисключающими. Чаще они сосуществовали в одной голове и поочередно выходили на первый план, в зависимости от обстоятельств и контекста в целом. К примеру, с середины XIX века экспансия России на Кавказе и в Средней Азии все больше воспринималась российским образованным обществом через призму современного европейского колониализма — по аналогии с действиями Франции в Алжире или Великобритании в Индии. Поэтому и захватническая политика Российской империи могла подвергаться осуждению в рамках более широкой постславянофильской цивилизационной критики «Европы», а также моральной и политической самокритики. Эта самокритика включала идеализацию «примитивной» аутентичности аборигенов и даже своего рода антиколониальную солидарность с ними. Именно это отношение прочитывается в «Хаджи-Мурате» — позднем произведении, над которым Толстой работал с 1897 по 1906 год и которое считается незаконченным⁷⁶. Вероятно, многочисленные версии и правки повести отразили и определенную внутреннюю работу Толстого над собственным колониальным комплексом. В то же время давно присоединенные к империи территории — еще до эпохи романтического национализма начала XIX века — кодировались иначе и вызвали иные чувства. И в середине XIX века, и в начале XX века Средняя Волга, Приуралье и даже украинские земли воспринимались как более «естественное» и «законное» поле проявления русского национализма и элементов колониальной политики, впервые объединившихся в рамках режима «национализирующей империи» во второй половине XIX века.

Бояновска совершенно справедливо выделяет пореформенные десятилетия как период, когда поселенческий колониализм (*settler colonialism*) получает распространение в России и становится легитимной практикой. При этом она стремится обнаружить у комплекса поселенческого колониализма давнюю генеалогию в регионе и в Российской империи в целом. Я бы, напротив, подчеркнула именно демонстративный разрыв с традиционным репертуаром имперского управления в конце XIX века, когда мы наблюдаем совершенно новаторский характер экономики и политики населения. Соответственно, Толстой — колониальный землевладелец оказывается модернистом, подобно тому как позднее он выступит в роли модерниста, критикующего «европейский» колониализм на Кавказе.

Новаторская политика потенциально геноцидального поселенческого колониализма стала возможной в результате взаимоналожения нескольких фак-

74 *Gerasimov I. The Russian Imperial Situation: Before and After the Nation-State // Ab Imperio. 2022. Vol. 23. No. 4. P. 31–58; Gerasimov I., Glebov S., Kusber J., Mogilner M., Semyonov A. New Imperial History and the Challenges of Empire // Empire Speaks Out. Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov et al. Leiden: Brill, 2009. P. 3–33.*

75 Имперский репертуар управления (*imperial repertoire of rule*) — концепция, предложенная в синтетической и сравнительной работе Джейн Бурбанк и Фредерика Купера «Империи в глобальной истории»: *Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press, 2011.

76 Подробно об истории создания «Хаджи Мурата» см.: (XXXV, 627–628).

торов. С одной стороны, в пореформенный период происходит бум земельного рынка, на котором появляется масса новых участников и многократно увеличиваются масштабы оборота земельных участков. С другой — вместе с появлением современных концепций культурно-исторических этапов прогресса распространяется новое научное понимание кочевничества как примитивной социально-экономической формации⁷⁷. Одновременно происходит кристаллизация современного русского национализма, наконец-то обретшего «национальное тело» в виде освобожденного от крепостной зависимости «русского» крестьянства — ведь современная массовая нация предполагает существование «народа», обладающего политической субъектностью или хотя бы личной свободой⁷⁸.

Последний фактор заслуживает особого внимания. Как блестяще показывает Бояновская, «пробужденное» реформами к социальной жизни крестьянство — «русский народ» — превратилось из пассивного объекта народнического воображения в активных субъектов политической и экономической деятельности, в том числе колонизации. («Русскость», да еще крестьян, являлась крайне проблематичной категорией в этот период, поэтому, не имея возможности здесь обсуждать ее подробно, я оставляю этот термин в кавычках.) С этим связан парадокс Толстого — колониального землевладельца 1870-х годов. С одной стороны, он культивирует образ русского крестьянства как здоровой стихии, которая, помимо государства, выплескивается на «неосвоенные» земли, тем самым реализуя провиденциальную миссию России. Не желая подвергать крестьян эксплуатации, Толстой обрекает свою латифундию на нерентабельность. С другой стороны, Толстой цинично уводит землю из-под носа того же коллективного «русского» крестьянина-переселенца, заинтересованного в приобретении приглянувшегося графу земельного участка в столь милое его сердцу общинное пользование и готового заплатить за землю даже большую сумму, чем сам граф. Четко понимая логику местных властей, Толстой разыгрывает классовую карту, представляя себя как более надежного и социально близкого покупателя.

Реконструированная Бояновской история покупки самарского имения служит редким в современной историографии примером виртуозной экономической микроистории, имеющей важные макроимпликации (не говоря уже о примере выразительного и убедительного письма)⁷⁹. Эта история также прекрасно подходит для обсуждения места и роли поселенческого колониализма в репер-

77 Об этом подробнее см.: *Biyashev I. Beyond Myths and Ruins: Archaeology and Nomadism in the Russian Empire and Early USSR (1850–1920s)*: PhD thesis. University of Illinois at Chicago, 2023.

78 Лучшей работой на эту тему остается: *Dolbilov M. The Emancipation Reform of 1861 in Russia and the Nationalism of the Imperial Bureaucracy // Construction and Deconstruction of National History in Slavic Eurasia* / Ed. by T. Hayashi. Sapporo: Slavic Research Center, 2003. P. 205–230. См. также: *Maierova O. From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation Through Cultural Mythology, 1855–1870*. Madison: University of Wisconsin Press, 2010. Также см. интерпретацию реформы 1861 года в связи со складыванием национализирующей империи в России: Новая имперская история Северной Евразии: В 2 т. Ч. 2: Балансирование имперской ситуации: XVIII–XX вв. / Под ред. И. Герасимова. Казань: Ab Imperio, 2017.

79 Чего только стоит указание Бояновской на то, что общая площадь самарского имения Толстого на 20% превышала размер Манхэттена! Абстрактные «десятины», которыми часто довольствуются историки, в статье Бояновской обретают наглядность, а исследование поселенческого колониализма, воплощенного в фигуре Толстого-латифундиста, — конкретное человеческое измерение.

туаре российских имперских практик. Аналитическая модель поселенческого колониализма была сформирована в результате обобщения опыта колонизации Северной Америки и Австралии (а начиная с 1970-х годов и с привлечением материала палестино-израильского конфликта)⁸⁰. Следуя логике этой модели, сформулированной в довольно жестких бинарных категориях, Бояновска определяет поселенческий колониализм как особую колониальную формацию, обладающую «уникальными структурными особенностями, стратегиями легитимизации и дискурсивными методами». В этом качестве, по утверждению Бояновской, «поселенческий колониализм был особой формой колониальной практики, которая включала вытеснение коренного населения с собственной земли и устройство на этих территориях внешних для нее сообществ, претендовавших на роль нормативных, полномочных и изоморфных метрополии». Кроме оппозиций «туземцы — пришлые» и «метрополия — колония», важнейшей частью модели поселенческого колониализма является признание ее сущностной геноцидальности — даже в «мягких» формулировках, допускающих де факто наличие «лишь» эксплуатации туземного населения. Согласно одному из основоположников концепции поселенческого колониализма, австралийскому историку Патрику Вулфу, «поселенческий колониализм — это инклюзивный (то есть допускающий сосуществование разных групп населения. — М.М.) проект, в центре которого находится перераспределение земельных ресурсов; он координирует внушительное число участников процесса, от центра-метрополии до фронтальных укреплений, стремясь в пределе к уничтожению индигенных обществ»⁸¹.

Мне кажется, что и мягкая, и радикальная версии поселенческого колониализма не отражают нюансы столь тщательно реконструированной Бояновской истории покупки Толстым самарской латифундии. Во-первых, очевидно, что Толстой — и просто дворянин Т. — располагал не единственным сценарием, а целым репертуаром трактовок колониальной ситуации и русскости. Во-вторых, основная коллизия, связанная именно с писателем Толстым, заключалась в том, что он не просто приобрел земли, выкупленные за бесценок у башкир, но одновременно дискриминировал русских крестьян-колонизаторов, которых идеализировал на уровне дискурса. При этом, как видно из статьи, не существовало никаких гомогенных «имперских властей», которые образовывали бы единый фронт центра и метрополии. Оренбургский генерал-губернатор Николай Крыжановский, убежденный современный русский националист с колониальным отношением к региону, был готов воплотить на практике то, что сегодня мы характеризуем как модель поселенческого колониализма. Однако и имперские чиновники в Петербурге с трудом и далеко не сразу дали согласие на его инициативы, и подчиненные Крыжановского демонстрировали совсем иной подход к местному населению⁸². В конечном итоге из-за протестов баш-

80 См., например: *Barakat R. Writing/Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty and Resisting the Ghost(s) of History // Settler Colonial Studies. 2018. Vol. 8. No. 3. P. 349—363; Past and Present: Settler Colonialism in Palestine; Settler Colonial Studies, Thematic issue / Ed. by O. Jabary Salamanca, M. Qato, K. Rabie and S. Samour]. 2012. Vol. 2. No. 1.*

81 *Wolfe P. Settler Colonialism and the Elimination of the Native // Journal of Genocide Research. 2006. Vol. 8. No. 4. P. 393.*

82 См.: *Steinwedel Ch. Threads of Empire. Legality and Tsarist Authority in Bashkiria, 1552—1917. Bloomington: Indiana University Press, 2016. P. 126—128.*

кир, поддержанных мнением элит общества, и критического отношения высших эшелонов имперской власти, Крыжановский с позором лишился должности в 1881 году⁸³. Кто же в этой истории показал себя «политически изоморфным метрополии»: наказанный метрополией за свою колониальную ретивость Крыжановский? крестьяне-переселенцы из других регионов империи, включая тысячи латышей и десятки тысяч украинцев, одной из общин которых отказали в праве приобрести будущую самарскую латифундию Толстого на основании классовой дискриминации? граф Л.Н. Толстой, который очень быстро исчерпал выданный ему имперской властью «кредит доверия» и был подвергнут церковной и политической анафеме? или башкиры, которые апеллировали к заключенному их предками «контракту» с Российской империей, признававшему за ними особые права землепользования, и которые тем самым идентифицировали себя с империей, только в ее дореформенной ипостаси? И к какой категории отнести мусульманскую элиту региона, также принимавшую участие в скупке башкирских родовых земель по демпинговым ценам?⁸⁴

Эти вопросы вовсе не релятивизируют критику Российской империи, «отбеливая» ее и настаивая на ее «неколониальности». Напротив, я согласна с Бояновской в том, что в случае Крыжановского мы имеем дело с модерным колониальным администратором, который создает условия, позволяющие любому представителю имперской элиты — будь то Т. или богатый мусульманин, — реализовывать сценарий поселенческой колонизации в башкирской степи. Более того, в конце XIX века участники этого процесса могли обосновывать свои действия как научными эволюционистскими или расовыми аргументами, так и риторикой «русской империи» в смысле империи для русских. Однако их мотивация и последовательные поступки не привели к складыванию особой колониальной формации. Методы и тропы поселенческого колониализма в той или иной степени всегда присутствовали в имперском репертуаре власти наряду с другими подходами к имперскому управлению. Но они не проявлялись прежде столь отчетливо, как это произошло в 1870-е годы на башкирских землях, и не получали систематическую поддержку со стороны имперской верховной власти вплоть до начала Первой мировой войны.

Логика реализации Великих реформ в Приуралье и Степи, где кочевые башкиры, казахи и калмыки подчинялись режиму особого военного управления, была универсалистской, поскольку предполагала отмену всевозможных «особых статусов» и интеграцию в современное имперское общество. Чарльз Стейнвелд, автор фундаментального исследования о башкирских землях и эволюционировавшем башкирском сословии — этносе — нации в империи, часто цитируемого в статье Бояновской, наглядно показал эту коллизию универсализма в империи, основанной на партикуляристском принципе управления. Любые проекты универсализации в имперской ситуации воспринимались как дискриминационные, отменяющие традиционные привилегии, а потому требовали компенсации, порождая новую дифференцию на иных, более современных и рациональных принципах. Так, предшественник Крыжановского на посту оренбургского генерал-губернатора Александр Безак считал служилый характер башкир (в то время считавшихся особым сословием, как казаки, а не «народностью») причиной их «гражданской неразвитости» и

83 Ibid. P. 160–162.

84 Ibid. P. 127.

в 1860-х годах разрабатывал реформу, призванную интегрировать башкир в регулярную сословную структуру империи. Подготовленное им и утвержденное 14 мая 1863 года в Петербурге «Положение о башкирах» переводило башкир (а также другие сословные группы — мещеряков, тептярей и бобылей) из военно-казачьего ведомства в гражданское и наделяло личными и имущественными правами, включая право продавать землю. Безак и его петербургские начальники видели в этом акте нормализацию статуса башкир как крестьян и дворян, а не политику, направленную на вытеснение башкир с родовых земель и, в пределе, геноцид. Башкирская элита была приравнена в статусе к российскому дворянству, а все башкиры, включая крестьян, признаны наследственными землевладельцами, то есть они сохраняли права на имевшуюся у них землю⁸⁵. Другое дело, что прежде земля находилась в совместном родовом владении, что крайне затрудняло отчуждение отдельных участков. В пореформенной же России земельный фонд оказывался в плоскости коммерческих частнопроводных отношений, даже если собственник был коллективным — крестьянской общиной или родовой группой.

В 1840-х годах, до назначения в Оренбург в 1866 году, Крыжановский находился на Кавказе, принимая участие в войне с горцами, а с начала 1860-х служил в Варшаве и Вильно — в том числе во время Январского восстания 1863—1864 годов и его подавления. Крыжановский привнес во «внутренний» регион совершенно иной опыт империи и отчетливо колониальные методы, что никак не позволяет рассматривать его как более типичного представителя «российского империализма», чем его предшественника на посту Оренбургского генерал-губернатора. Наоборот, в своей агрессивной колонизаторской политике Крыжановский вынужден был использовать тот же язык нормализации и равноправия, что и Безак, — например, требуя снятия ограничений на количество земли, которую башкирам было позволено продавать (введенных именно для защиты родовых земель). Очевидно, он не мог открыто полагаться на тропы переселенческого колониализма, опасаясь острой реакции в Петербурге. С целью создать возможности для злоупотреблений в пользу имперской элиты типа Т. (крестьяне мало заботили Крыжановского), генерал-губернатор должен был апеллировать к праву башкир на полноценное участие в земских выборах и реализовывать его на практике. В результате, как подчеркивает Стейнвелд, «в Уфимском земстве было больше мусульман, чем в земствах других регионов империи»⁸⁶. Реальной целью Крыжановского являлась ликвидация башкир как *сословия, сформированного империей* и имевшего ряд привилегий, включая обширные земельные владения. «Нормализация» и уравнивание правового статуса означали превращение башкир в обычных бесправных крестьян. В определенном смысле желание отобрать башкирские родовые земли имело геноцидальный характер — колониальному чиновнику нужна была земля башкир без башкир на ней. В этом и заключается эмпирическая ценность модели поселенческого колониализма: она дает концептуальный язык, для того чтобы связать определенную экономическую практику, административные меры и культурную диспозицию (расоизация и стигматизация местного населения как отсталых Других). Но, как мне кажется, описание процесса не нужно смешивать с интерпретацией его результата, а язык — с вердиктом.

85 Ibid. P. 122—127.

86 Ibid. P. 139.

Применительно к башкирскому случаю важно учитывать еще один аспект, проанализированный Стейнведелом. Элементы политики поселенческого колониализма в регионе, наиболее последовательно проводившейся Крыжановским, способствовали трансформации принципа групповой солидарности башкир — причем вовсе не в хрестоматийной последовательности «нациестроительства». Из служилого сословия, объединяющего рода без четкой этнической идентификации в современном понимании, которое коллективно пользовалось земельным фондом в обмен на коллективную же военную службу, башкирская группность к началу XX века начинает признаваться национальной — как изнутри, так и внешними наблюдателями, а уже затем формируется представление о едином башкирском этносе⁸⁷. Каждая версия башкирской группности предоставляла определенные механизмы отстаивания коллективного правового статуса и сопротивления колониальному давлению. Так, в пореформенный период башкирское сословие неожиданно выросло за счет мещеряков и тептярей, объявлявших себя башкирами, чтобы защитить свои земельные привилегии⁸⁸. Этой возможности было лишено население Средней Азии и Кавказа, само обозначение которых в имперском дискурсе — «туземцы», а не «инородцы» — отсылало к западным колониальным практикам и предполагало иную модель имперского взаимодействия, лишенную контрактной составляющей. «Инородцы» являлись правовой категорией, предполагающей определенный набор обязанностей и привилегий, подчас более привлекательных для «коренных русских», чем их собственный статус, — например, ограниченностью податей и освобождением от воинской повинности. Поэтому русские крестьяне с готовностью «оаякучивались», а татарские купцы пытались записаться казаками⁸⁹.

Не случайно Лев Толстой смотрел на башкир иначе, чем на горцев Кавказа: имперская ситуация поощряет партикуляризм в восприятии социальной реальности. Но также не случайно и то, что попытка универсализации подходов со стороны Крыжановского, перенесшего свой кавказский и польский опыт на башкирские земли, вылилась в «скандал империи». С моей точки зрения, модель поселенческого колониализма, по крайней мере в российском случае, оказывается наиболее продуктивной там, где формально не обнаруживается организованная колонизационная деятельность. Тогда она позволяет увидеть противоречия и конфликты, вскрыть структуры неравенства и сложность имперской ситуации. Попытка же втиснуть сложную, иерархичную, но далеко не бинарную реальность в бинарную рамку поселенческого колониализма редко оказывается успешной на российском материале даже в случаях откровенно геноцидальной политики (или воображения) российских властей, такой как черкасский сюргон или репрессии после Январского восстания на польских землях.

Поразительно, что ни книга Стейнведела, в которой он, правда, не использует категорию поселенческого колониализма, ни работы Уилларда Сандер-

87 *Steinwedel Ch. Tribe, Estate, Nationality? Changing Conceptions of Bashkir Particularity within The Tsar's Empire // Ab Imperio. 2002. Vol. 3. No. 2. P. 249—278.*

88 См. подробнее: *Steinwedel Ch. Threads of Empire... P. 142—143.*

89 Логика имперского законодательства, делавшая возможным подобные решения, хорошо схвачена в концепции «imperial rights regime» (режим имперских прав), предложенной Джейн Бурбанк: *Burbank J. Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7. No. 3. P. 397—431.*